Тяжелые времена

Автор:
Чарльз Диккенс

Тяжелые времена

Чарльз Диккенс

Действие романа «Тяжелые времена» происходит в промышленном городе Кокстаун, в котором все обезличено: люди одинаково одеты, выходят из дома и возвращаются в одни и те же часы, одинаково стуча подошвами одинаковых башмаков. В городе распространена философия фактов и цифр, которой следует богатый банкир Баундерби, такова и система воспитания в школе Грэдграйна – без любви, тепла, воображения. Бездушному миру фактов противостоит труппа бродячего цирка и маленькая дочь циркача – Сисси Джуп.

Чарльз Диккенс

Тяжелые времена

Книга первая

«Сев»

Глава I

Единое на потребу

– Итак, я требую фактов. Учите этих мальчиков и девочек только фактам. В жизни требуются одни факты. Не насаждайте ничего иного и все иное вырывайте с корнем. Ум мыслящего животного можно образовать только при помощи фактов, ничто иное не приносит ему пользы. Вот теория, по которой я воспитываю своих детей. Вот теория, по которой я воспитываю и этих детей. Держитесь фактов, сэр!

Действие происходило в похожем на склеп неуютном, холодном классе с голыми стенами, а оратор для пущей внушительности подчеркивал каждое свое изречение, проводя квадратным пальцем по рукаву учителя. Не менее внушителен, нежели слова оратора, был его квадратный лоб, поднимавшийся отвесной стеной над фундаментом бровей, а под его сенью, в темных просторных подвалах, точно в пещерах, с удобством расположились глаза. Внушителен был и рот оратора – большой, тонкогубый и жесткий; и голос оратора – твердый, сухой и властный; внушительна была и его лысина, по краям которой волосы щетинились, словно елочки, посаженные для защиты от ветра ее глянцевитой поверхности, усеянной шишками, точно корка сладкого пирога, – как будто запас бесспорных фактов уже не умещался в черепной коробке. Непреклонная осанка, квадратный сюртук, квадратные ноги, квадратные плечи – да что там! – даже туго завязанный галстук, крепко державший оратора за горло как самый очевидный и неопровержимый факт, – все в нем было внушительно.

– В этой жизни, сэр, нам требуются факты, одни только факты!

Все трое взрослых – оратор, учитель и третье присутствующее при сем лицо – отступили на шаг и окинули взором расположенные чинными рядами по наклонной плоскости маленькие сосуды, готовые принять галлоны фактов, которыми надлежало наполнить их до краев.

Глава II

Избиение младенцев

Томас Грэдграйнд, сэр. Человек трезвого ума. Человек очевидных фактов и точных расчетов. Человек, который исходит из правила, что дважды два – четыре, и ни на йоту больше, и никогда не согласится, что может быть иначе, лучше и не пытайтесь убеждать его. Томас Грэдграйнд, сэр – именно Томас – Томас Грэдграйнд. Вооруженный линейкой и весами, с таблицей умножения в кармане, он всегда готов взвесить и измерить любой образчик человеческой природы и безошибочно определить, чему он равняется. Это всего-навсего подсчет цифр, сэр, чистая арифметика. Вы можете тешить себя надеждой, что вам удастся вбить какие-то другие, вздорные понятия в голову Джорджа Грэдграйнда, или Огастеса Грэдграйнда, или Джона Грэдграйнда, или Джозефа Грэдграйнда (лица воображаемые, несуществующие), но только не в голову Томаса Грэдграйнда, о нет, сэр!

Такими словами мистер Грэдграйнд имел обыкновение мысленно рекомендовать себя узкому кругу знакомых, а также и широкой публике. И, несомненно, такими же словами – заменив обращение «сэр» обращением «ученики и ученицы», – Томас Грэдграйнд мысленно представил Томаса Грэдграйнда сидевшим перед ним сосудикам, куда надо было влить как можно больше фактов.

Он стоял, грозно сверкая на них укрывшимися в пещерах глазами, словно до самого жерла начиненная фактами пушка, готовая одним выстрелом выбить их из пределов детства. Или гальванический прибор, заряженный бездушной механической силой, долженствующей заменить развеянное в прах нежное детское воображение.

– Ученица номер двадцать, – сказал мистер Грэдграйнд, тыча квадратным пальцем в одну из школьниц. – Я этой девочки не знаю. Кто эта девочка?

– Сесси Джуп, сэр, – отвечала, вся красная от смущения, ученица номер двадцать, вскочив на ноги и приседая.

– Сесси? Такого имени нет, – сказал мистер Грэдграйнд. – Не называй себя Сесси. Называй себя Сесилия.

– Мой папа зовет меня Сесси, сэр, – дрожащим голосом отвечала девочка и еще раз присела.

– Напрасно он так называет тебя, – сказал мистер Грэдграйнд. – Скажи ему, чтобы он этого не делал. Сесилия Джуп. Постой-ка. Кто твой отец?

– Он из цирка, сэр.

Мистер Грэдграйнд нахмурился и повел рукой, отмахиваясь от столь предосудительного ремесла.

– Об этом мы здесь ничего знать не хотим. И никогда не говори этого здесь. Твой отец, верно, объезжает лошадей? Да?

– Да, сэр. Когда удается достать лошадей, их объезжают на арене, сэр.

– Никогда не поминай здесь про арену. Так вот, называй своего отца берейтором. Он, должно быть, лечит больных лошадей?

– Конечно, сэр.

– Отлично, стало быть, твой отец коновал – то есть ветеринар – и берейтор. А теперь определи, что есть лошадь?

(Сесси Джуп, насмерть перепуганная этим вопросом, молчала.)

– Ученица номер двадцать не знает, что такое лошадь! – объявил мистер Грэдграйнд, обращаясь ко всем сосудикам. – Ученица номер двадцать не располагает никакими фактами относительно одного из самых обыкновенных животных! Послушаем, что знают о лошади ученики. Битцер, скажи ты.

Квадратный палец, двигаясь взад и вперед, вдруг остановился на Битцере, быть может только потому, что мальчик оказался на пути того солнечного луча, который, ворвавшись в ничем не занавешенное окно густо выбеленной комнаты, упал на Сесси. Ибо наклонная плоскость была разделена на две половины: по одну сторону узкого прохода, ближе к окнам, помещались девочки, по другую – мальчики; и луч солнца, одним концом задев Сесси, сидевшую крайней в своем ряду, другим концом осветил Битцера, занимавшего крайнее место на несколько рядов впереди Сесси. Но черные глаза и черные волосы девочки заблестели еще ярче в солнечном свете, а белесые глаза и белесые волосы мальчика, под

действием того же луча, казалось, утратили последние следы красок, отпущенных ему природой. Пустые, бесцветные глаза мальчика были бы едва приметны на его лице, если бы не окаймлявшая их короткая щетина ресниц более темного оттенка. Коротко остриженные волосы ничуть по цвету не отличались от желтоватых веснушек, покрывавших его лоб и щеки. А болезненно бледная кожа, без малейших следов естественного румянца, невольно наводила на мысль, что, если бы он порезался, потекла бы не красная, а белая кровь.

– Битцер, – сказал Томас Грэдграйнд, – объясни, что есть лошадь.

– Четвероногое. Травоядное. Зубов сорок, а именно: двадцать четыре коренных, четыре глазных и двенадцать резцов. Линяет весной; в болотистой местности меняет и копыта. Копыта твердые, но требуют железных подков. Возраст узнается по зубам. – Все это (и еще многое другое) Битцер выпалил одним духом.

– Ученица номер двадцать, – сказал мистер Грэдграйнд, – теперь ты знаешь, что есть лошадь.

Сесси снова присела и вспыхнула бы еще ярче, будь это возможно, – лицо ее и так уже пылало. Битцер, моргнув в сторону Томаса Грэдграйнда обоими глазами зараз, отчего ресницы его затрепетали на солнце, словно усики суетливых букашек, стукнул себя костяшками пальцев по веснушчатому лбу и сел на место.

Вперед вышел третий джентльмен: великий мастер непродуманных решений, правительственный чиновник с повадками кулачного бойца, всегда начеку, всегда готовый насильно пропихнуть в общественное горло – словно огромную пилюлю, содержащую изрядную дозу яда, – очередной дерзновенный прожект; всегда во всеоружии, громогласно бросающий вызов всей Англии из своей маленькой канцелярии. Выражаясь по-боксерски, он всегда был в превосходной форме, где бы и когда бы он ни вышел на ринг, и не гнушался запрещенных приемов. Он злобно накидывался на все, что ему противодействовало, бил сначала правой, потом левой, парировал удары, наносил встречные, прижимал противника (всю Англию!) к канатам и уверенно сбивал его с ног. Он так ловко опрокидывал здравый смысл, что тот падал замертво и уже не мог подняться вовремя. На этого джентльмена высочайшей властью была возложена миссия – ускорить пришествие тысячелетнего царства, когда из своей всеобъемлющей канцелярии миром будут править чиновники.

– Отлично, – сказал джентльмен, скрестив руки на груди и одобрительно улыбаясь. – Вот что есть лошадь. А теперь, дети, ответьте мне на вопрос: стал бы кто-нибудь из вас оклеивать комнату изображениями лошади?

После непродолжительного молчания одна половина хором закричала «да, сэр!». Но другая половина, догадавшись по лицу джентльмена, что «да» – неверно, по обычаю всех школьников дружно крикнула «нет, сэр!».

– Конечно, нет. А почему?

Молчание. Наконец один толстый медлительный мальчик, видимо страдающий одышкой, дерзнул ответить, что он вообще не стал бы оклеивать стены обоями, а выкрасил бы их.

– Но ты должен оклеить их, – строго сказал джентльмен.

– Ты должен оклеить их, – подтвердил Томас Грэдграйнд, – нравится тебе это или нет. И не говори, что ты не стал бы оклеивать комнату. Это еще что за новости?

– Придется мне объяснить вам, – сказал джентльмен после еще одной длительной и тягостной паузы, – почему вы не стали бы оклеивать комнату изображениями лошади. Вы когда-нибудь видели, чтобы лошади шагали вверх и вниз по стене? Известен вам такой факт? Ну?

– Да, сэр! – закричали одни.

– Нет, сэр! – закричали другие.

– Разумеется, нет, – сказал джентльмен, бросив негодующий взгляд на тех, кто кричал «да». – И вы никогда не должны видеть то, чего не видите на самом деле, и вы никогда не должны думать о том, чего у вас на самом деле нет. Так называемый вкус – это всего-навсего признание факта.

Томас Грэдграйнд выразил свое полное согласие кивком головы.

– Это новый принцип, великое открытие, – продолжал джентльмен. – Теперь я вам задам еще один вопрос. Допустим, вы захотели разостлать в своей комнате ковер. Стал бы кто-нибудь из вас класть ковер, на котором изображены цветы?

К этому времени весь класс уже твердо уверовал в то, что на вопросы джентльмена всегда нужно давать отрицательные ответы, и дружное «нет» прозвучало громко и стройно. Только несколько голосов робко, с опозданием, ответило «да», – среди них голос Сесси Джуп.

– Ученица номер двадцать, – произнес джентльмен, снисходительно улыбаясь с высоты своей непререкаемой мудрости.

Сесси встала, пунцовая от смущения.

– Итак, ты бы застелила пол в своей комнате или в комнате твоего мужа – если бы ты была взрослая женщина и у тебя был бы муж – изображениями цветов? – спросил джентльмен. – А почему ты бы это сделала?

– Потому, сэр, что я очень люблю цветы, – отвечала девочка.

– И ты поставила бы на них столы и стулья и позволила бы топтать их тяжелыми башмаками?

– Простите, сэр, но это не повредило бы им. Они бы не сломались и не завяли, сэр. Но они напоминали бы о том, что очень красиво и мило, и я бы воображала…

– Вот именно, именно! – воскликнул джентльмен, очень довольный, что так легко достиг своей цели. – Как раз воображать-то и не надо. В этом вся суть! Никогда не пытайся воображать.

– Смотри, Сесилия Джуп, – нахмурившись, проговорил Томас Грэдграйнд, – чтобы этого больше не было.

– Факты, факты и факты! – сказал джентльмен.

– Факты, факты и факты, – как эхо откликнулся Томас Грэдграйнд.

– Вы должны всегда и во всем руководствоваться фактами и подчиняться фактам, – продолжал джентльмен. – Мы надеемся в недалеком будущем учредить министерство фактов, где фактами будут ведать чиновники, и тогда мы заставим народ быть народом фактов, и только фактов. Забудьте самое слово «воображение». Оно вам ни к чему. Все предметы обихода или убранства, которыми вы пользуетесь, должны строго соответствовать фактам. Вы не топчете настоящие цветы – стало быть, нельзя топтать цветы, вытканные на ковре. Заморские птицы и бабочки не садятся на вашу посуду – стало быть, не следует расписывать ее заморскими цветами и бабочками. Так не бывает, чтобы четвероногие ходили вверх и вниз по стенам комнаты? – стало быть, не нужно оклеивать стены изображениями четвероногих. Вместо всего этого, – заключил джентльмен, – вы должны пользоваться сочетаниями и видоизменениями (в основных цветах спектра) геометрических фигур, наглядных и доказуемых. Это и есть новейшее великое открытие. Это и есть признание факта. Это и есть вкус.

Сесси опять присела и опустилась на свое место. Она была еще очень молода, и, видимо, картина будущего царства фактов не на шутку пугала ее.

– А теперь, мистер Грэдграйнд, – сказал джентльмен, – если мистер Чадомор готов преподать свой первый урок, я рад буду исполнить вашу просьбу и ознакомиться с его методой.

Мистер Грэдграйнд изъявил свою глубочайшую признательность.

– Мистер Чадомор, прошу вас.

Итак, урок начался, и мистер Чадомор показал себя с наилучшей стороны. Он был из тех школьных учителей, которых в количестве ста сорока штук недавно изготовили в одно и то же время, на одной и той же фабрике, по одному и тому же образцу, точно партию ножек для фортепьяно. Его прогнали через несметное множество экзаменов, и он ответил на бесчисленные головоломные вопросы. Орфографию, этимологию, синтаксис и просодию, астрономию, географию и общую космографию, тройное правило, алгебру и геодезию, пение и рисование с натуры – все это он знал как свои пять холодных пальцев. Путь его был тернист, но он достиг списка В, утвержденного Тайным советом ее величества, и приобщился к высшей математике и физическим наукам, усвоил французский язык, немецкий, греческий и латынь. Он знал все о всех водоразделах мира (сколько бы их ни было), знал историю всех народов, названия всех рек и гор, нравы и обычаи всех стран и что в какой производят, границы каждой из них и

положение относительно тридцати двух румбов компаса. Не многовато ли, мистер Чадомор? Ах, если бы он чуть поменьше знал, насколько лучше он мог бы научить неизмеримо большему!

На этом первом вводном уроке он поступил по примеру Морджаны из сказки про Али-Бабу и сорок разбойников – а именно, начал с того, что заглянул по очереди во все кувшины, выставленные перед ним, дабы ознакомиться с их содержимым. Скажи по совести, милейший Чадомор: уверен ли ты, что всякий раз, когда ты до краев наполнишь сосуд кипящей смесью своих знаний, притаившийся на дне разбойник – детское воображение – будет сразу умерщвлен? Или может случиться, что ты только искалечишь и изуродуешь его?

Глава III

Щелка

Мистер Грэдграйнд отправился из школы домой в превосходном расположении духа. Это его школа, и он сделает ее образцовой. Каждый ребенок в этой школе будет таким же образцовым ребенком, как юные отпрыски самого мистера Грэдграйнда.

Юных отпрысков было пятеро, и все они до единого могли служить образцами. Просвещать их начали с самого нежного возраста; гоняли точно молодых зайцев. Едва они научились ходить без посторонней помощи, как их заставили ходить в классную комнату. Первый предмет, появившийся в поле их зрения и глубоко врезавшийся им в память, была большая классная доска, на которой страшный Людоед чертил зловещие белые знаки.

Разумеется, отпрыски и не подозревали о существовании Людоеда и даже имени такого никогда не слышали. Боже упаси! Я просто пользуюсь этим словом, чтобы описать чудовище с несметным числом голов, втиснутых в одну, которое похищает детей и за волосы тащит их в статистические клетки своего мрачного замка учености.

Никто из малолетних Грэдграйндов не говорил никогда, что луна улыбается: они знали все про луну еще до того, как научились говорить. Никто из них никогда не лепетал глупый стишок: «В небе звездочка зажглась, а откуда ты взялась?» – и никто из них никогда не задавал себе такого вопроса: пяти лет от роду они уже умели анатомировать Большую Медведицу не хуже профессора Оуэна и водить звездный Воз, как машинист водит поезд. Ни один из малолетних Грэдграйндов, увидев корову на лугу, не вспоминал о всем известной корове безрогой, лягнувшей старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, или о той прославленной корове, что проглотила Мальчика-с-пальчика; об этих знаменитостях они не знали ровно ничего, и для них корова была только травоядное жвачное четвероногое с несколькими желудками.

Итак, мистер Грэдграйнд, весьма довольный собой, шествовал к своему дому – истинному кладезю фактов, – именуемому Каменный Приют. Он выстроил этот дом после того, как ушел на покой из принадлежащей ему оптовой торговли скобяным товаром, и теперь поджидал удобный случай увеличить собой сумму единиц, составляющих парламент. Каменный Приют стоял на пустоши в полутора милях от большого города, который в настоящем достоверном путеводителе носит название Кокстаун.

Каменный Приют являл собой весьма отчетливую особенность рельефа местности. Никакие ухищрения не смягчали и не затушевывали эту ничем не прикрытую деталь пейзажа – она утверждала себя как неумолимый и бесспорный факт: большое, похожее на ящик двухэтажное здание с массивной колоннадой, затеняющей нижние окна, как густые нависшие брови затеняли глаза его владельца. Все высчитано, все вычислено, взвешено и выверено. Шесть окон по одну сторону двери, шесть – по другую; итого по фасаду двенадцать в правом крыле, двенадцать в левом и соответственно – двадцать четыре в задней стене. Лужайка, сад и зачатки аллеи, разграфленные по линейке, словно ботаническая счетная книга. Газовое освещение, вентиляторы, канализация и водопровод – все безупречного устройства. Скобы и скрепы железные – полная гарантия от пожара; имеются механические подъемники для служанок с их швабрами, тряпками и щетками; словом – все, чего только можно пожелать.

Все ли? По-видимому, так. Малолетним Грэдграйндам предоставлены пособия для всевозможных научных занятий. У них есть небольшая конхиологическая коллекция, небольшая металлургическая коллекция и небольшая

минералогическая коллекция; образцы минералов и руд выложены в строжайшем порядке и снабжены ярлычками, и так и кажется, что они были отколоты от материнской породы при помощи их собственных головоломных названий. И ежели всего этого малолетним Грэдграйндам было мало, то чего же еще, скажите на милость, им было надобно?

Родитель их возвращался домой не спеша, в самом радужном и приятном настроении. Он по-своему любил своих детей, был нежный отец, но сам (если бы от него, как от Сесси Джуп, потребовали бы точного определения), вероятно, назвал бы себя «в высшей степени практическим отцом». Он вообще чрезвычайно гордился выражением «в высшей степени практический», которое особенно часто применяли к его особе. Какое бы публичное собрание ни состоялось в Кокстауне и о чем бы ни шла речь на этом собрании, можно было поручиться, что один из ораторов непременно воспользуется случаем и помянет своего в высшей степени практического друга Грэдграйнда. Практический друг неизменно слушал это с удовольствием. Он знал, что ему только воздают должное, но все же было приятно.

Он уже достиг окраин Кокстауна и ступил на нейтральную почву, другими словами – очутился в местности, которая не была ни городом, ни деревней, но обладала худшими свойствами и города и деревни, когда до слуха его донеслись звуки музыки. Барабаны и трубы бродячего цирка, обосновавшегося здесь, в дощатом балагане, наяривали во всю мочь. Флаг, развевавшийся на вышке этого храма искусства, возвещал всему миру о том, что на благосклонное внимание публики притязает не что иное, как «Цирк Слири». Сам Слири, поставив возле себя денежный ящик, расположился – точно монументальная современная скульптура – в будке, напоминавшей нишу собора времен ранней готики, и принимал плату за вход. Мисс Джозефина Слири, как можно было прочесть на очень длинных и узких афишах, открывала программу своим коронным номером – «конно-тирольской пляской цветов». Среди прочих забавных, но неизменно строго-благопристойных чудес, – которые нужно увидеть воочию, чтобы поверить в них, – афиша сулила выступление синьора Джупа и его превосходно дрессированной собаки Весельчак. Кроме того, будет показан знаменитый «железный фонтан» – лучший номер синьора Джупа, состоящий в том, что семьдесят пять центнеров железа, подбрасываемые вверх его могучей рукой, сплошной струей подымаются в воздух, – номер, подобного которому еще не бывало ни в нашем отечестве, ни за его пределами и который ввиду неизменного и бешеного успеха у публики не может быть снят с программы. Тот же синьор Джуп «в промежутках между номерами будет оживлять представление высоконравственными шутками и остротами в шекспировском

духе». И в заключение синьор Джуп сыграет свою любимую роль – роль мистера Уильяма Баттона с Тули-стрит в «чрезвычайно оригинальном и преуморительном ипповодевиле «Путешествие портного в Брентфорд».

Томас Грэдграйнд, разумеется, и не глянул на эту пошлую суету и проследовал дальше, как и подобает человеку практическому, стараясь отмахнуться от шумливых двуногих козявок и мысленно отправляя их за решетку. Но поворот дороги привел его к задней стене балагана, а у задней стены балагана он увидел сборище детей и увидел, что дети, в самых противоестественных позах, украдкой заглядывают в щелку, дабы хоть одним глазком полюбоваться волшебным зрелищем.

Мистер Грэдграйнд остановился.

– Уж эти бродяги, – проговорил он, – они соблазняют даже питомцев образцовой школы.

Так как от юных питомцев его отделяла полоса земли, где между кучами мусора пробивалась чахлая травка, он вынул из жилетного кармана лорнет и стал вглядываться – нет ли здесь детей, известных ему по фамилии, которых он мог бы окликнуть и прогнать отсюда. И что же открылось его взорам! Явление загадочное, почти невероятное, хотя и отчетливо зримое: его родная дочь, металлургическая Луиза, прильнув к сосновым доскам, не отрываясь смотрела в дырочку, а его родной сын, математический Томас, самым унизительным образом ползал по земле, в надежде увидеть хоть одно копыто из «конно-тирольской пляски цветов»!

Мистер Грэдграйнд в немом изумлении подошел к своим чадам, занятым столь позорным делом, и, тронув за плечо блудного сына и блудную дочь, воскликнул:

– Луиза!! Томас!!

Оба вскочили, красные и сконфуженные. Но Луиза смотрела на отца смелее, нежели Томас. Собственно говоря, Томас вовсе не смотрел на него, а покорно, словно машина, дал оттащить себя от балагана.

– Вот она, праздность, вот безрассудство! – восклицал мистер Грэдграйнд, хватая обоих за руки и уводя их прочь. – Ради всего святого – что вы здесь

делаете?

– Хотели посмотреть, что там такое, – коротко отвечала Луиза.

– Посмотреть, что там такое?

– Да, отец.

В обоих детях, особенно в девочке, чувствовалось какое-то угрюмое недовольство; но сквозь хмурое выражение ее лица пробивался свет, которому нечего было озарять, огонь, которому нечего было жечь, изголодавшееся воображение, которое как-то умудрялось существовать, и потому лицо Луизы все же казалось оживленным. Это было не то естественное, веселое оживление, которое свойственно счастливому детству, но опасливое, судорожное, болезненное, какое вспыхивает на лице слепого, ощупью бредущего по дороге.

Луизе шел шестнадцатый год; полуребенок, но недалек тот день, когда она внезапно превратится в женщину. Так думал ее отец, глядя на нее. Хороша собой. Была бы своевольна, будь она иначе воспитана (заключил он с присущей ему практичностью).

– Томас! Даже имея перед глазами бесспорный факт, я едва могу поверить, что ты, с твоим воспитанием, с твоим умственным развитием, решился привести сестру в такое неподобающее место.

– Это я привела Тома, – торопливо сказала Луиза. – Я позвала его с собой.

– Грустно, очень, очень грустно. Это не уменьшает его вины, а твою увеличивает, Луиза.

Она опять посмотрела ему в лицо, но глаза ее были сухи.

– Подумай! Томас и ты, которым открыт доступ ко всем наукам; Томас и ты, которые, можно сказать, насыщены фактами; Томас и ты, которые приучены к математической точности; и вдруг – Томас и ты – здесь! – воскликнул мистер Грэдграйнд. – И за каким недостойным занятием! Уму непостижимо.

– Мне было скучно, отец. Мне уже давно скучно, – сказала Луиза. – Надоело.

– Надоело? Что же тебе надоело? – спросил изумленный отец.

– Сама не знаю. Кажется, все на свете.

– Довольно! – прервал ее мистер Грэдграйнд. – Это ребячество. И слушать не хочу. – Больше он ничего не прибавил и только после того, как они молча прошли с полмили, у него вырвались негодующие слова: – Что бы сказали твои друзья, Луиза? Разве ты не дорожишь их добрым мнением? Что скажет мистер Баундерби?

При упоминании этого имени Луиза украдкой бросила на отца быстрый испытующий взгляд. Но мистер Грэдграйнд ничего не заметил, потому что она опустила глаза прежде, чем он посмотрел на нее.

– Что скажет мистер Баундерби? – повторил он. И всю дорогу до дому, уводя в Каменный Приют обоих малолетних преступников, он время от времени повторял с возмущением: – Что скажет мистер Баундерби? – словно мистер Баундерби был вовсе не мистер и не Баундерби, а пресловутая миссис Гранди.

Глава IV

Мистер Баундерби

А ежели мистер Баундерби не миссис Гранди, то кто же он такой?

Мистер Баундерби, можно сказать, самый закадычный, самый близкий друг мистера Грэдграйнда, поскольку вообще уместно говорить об узах дружбы между двумя людьми, в равной мере лишенными теплых человеческих чувств. Именно такого близкого – или, если угодно, далекого – друга имеет мистер Грэдграйнд в лице мистера Баундерби.

Мистер Баундерби – известный богач; он и банкир, и купец, и фабрикант, и невесть кто еще. Он толст, громогласен, взгляд у него тяжелый, смех –

металлический. Сделан он из грубого материала, который, видимо, пришлось сильно натягивать, чтобы получилась такая туша. Голова у него большая, словно раздутая, лоб выпуклый, жилы на висках как веревки, кожа лица такая тугая, что кажется, будто это она не дает глазам закрыться и держит брови вздернутыми. В общем и целом он сильно напоминает воздушный шар, который только что накачали и вот-вот запустят. Он очень не прочь похвастаться, и хвастает он преимущественно тем, что сам вывел себя в люди. Он неустанно, во всеуслышание – ибо голос у него что медная труба – твердит о своем былом невежестве и былой бедности. Чванное смирение – его главный козырь.

Мистер Баундерби года на два моложе своего в высшей степени практического друга, но выглядит старше: к его сорока семи или сорока восьми годам можно бы свободно прибавить еще семь-восемь лет, ни в ком не вызвав удивления. Волос у него немного. Вероятнее всего, они повылезали со страху, что он заговорит их до смерти, а те, что остались, торчат во все стороны, потому что их постоянно треплют порывы его бурного бахвальства.

В чопорной гостиной Каменного Приюта на коврике перед камином стоял мистер Баундерби и, греясь у огня, делился с миссис Грэдграйнд своими мыслями по поводу того, что нынче день его рождения. Стоял же он перед камином, во-первых, потому, что денек выдался хоть и солнечный, но еще по-весеннему прохладный; во-вторых, потому, что дух непросохшей штукатурки отказывался покинуть сумрачные покои Каменного Приюта; и в-третьих, потому, что таким образом он занимал господствующее положение и мог смотреть на миссис Грэдграйнд сверху вниз.

– Что такое обувь, я знать не знал. А что до чулок, – даже слова такого никогда не слышал. День я проводил в канаве, а ночь в свинарнике. Именно так я отпраздновал свое десятилетие. Но канава не была мне в новинку. Я и родился в канаве.

Миссис Грэдграйнд – маленькая, щуплая женщина, очень бледная, с красноватыми глазами, вся увязанная в платки и шали, равно немощная и плотью, и духом, которая вечно без всякой пользы глотала лекарства и которую каждый раз, как она подавала признаки жизни, оглушало увесистым осколком какого-нибудь факта, – выразила надежду, что в канаве было сухо.

– Ничего подобного! Было очень мокро. Вода стояла по колено, – заявил мистер Баундерби.

– Так можно простудить ребенка, – заметила миссис Грэдграйнд.

– Простудить? Да я родился с воспалением легких, и не только легких, а думается мне, всего прочего, что только может воспаляться, – отвечал мистер Баундерби. – Ежели бы вы знали, сударыня, каким жалким заморышем я был когда-то. Такой больной и хилый, что я только и делал, что пищал и визжал. Такой оборванный и грязный, что вы и щипцами не захотели бы дотронуться до меня.

В ответ на это миссис Грэдграйнд неуверенно покосилась на каминные щипцы, вероятно решив, по слабоумию своему, что ничего более подходящего к случаю и не придумаешь.

– И как только я выжил? – продолжал мистер Баундерби. – Просто понять не могу. Уж такой нрав, видимо. У меня очень решительный нрав, сударыня, и, видимо, таким я уродился. И вот, миссис Грэдграйнд, я здесь перед вами, и благодарить мне некого – сам всего достиг.

Миссис Грэдграйнд едва слышно выразила надежду, что его мать…

– Моя мать? Сбежала, сударыня! – выпалил мистер Баундерби.

Миссис Грэдграйнд, по своему обыкновению, не выдержала удара и сдалась.

– Моя мать бросила меня на бабушку, – сказал Баундерби, – и ежели мне не изменяет память, такой мерзкой и гнусной старухи, как моя бабушка, свет не видал. Бывало, посчастливится мне раздобыть пару башмачков, а она стащит их с меня, продаст и напьется. Сколько раз на моих глазах она еще в постели, до завтрака, выдувала четырнадцать стаканов джина!

Миссис Грэдграйнд, слушавшая его со слабой улыбкой на устах, но без каких-либо иных признаков жизни, больше всего походила сейчас (как, впрочем, и всегда) на посредственно исполненный и скудно освещенный транспарант, изображающий женскую фигурку.

– Она держала мелочную торговлю, – продолжал Баундерби, – а меня держала в ящике из-под яиц. Вот какая у меня была колыбелька – старый ящик из-под яиц.

Едва я чуть-чуть подрос, я, конечно, сбежал. И сделался я бродяжкой. И уже не одна только старуха помыкала мной и морила голодом, а все, и стар, и млад, помыкали мной и морили голодом. Я их не виню: так и следовало. Я был для всех помехой, обузой, чумой. Я отлично сам это знаю.

Мысль о том, что в его жизни была пора, когда он сподобился быть помехой, обузой и чумой, переполнила мистера Баундерби гордостью, и, чтобы дать ей выход, он трижды во весь голос повторил эти слова.

– Пришлось как-то вылезать, миссис Грэдграйнд. Хорошо ли, плохо ли, но я это сделал. Я вылез, сударыня, хотя никто не бросил мне веревку. Бродяга, мальчик на побегушках, опять бродяга, поденщик, рассыльный, приказчик, управляющий, младший компаньон и, наконец, Джосайя Баундерби из Кокстауна. Таковы вехи моего восхождения к вершине. Джосайя Баундерби из Кокстауна учился грамоте по вывескам, сударыня, а узнавать время по башенным часам на лондонской церкви Святого Джайлса под руководством пьяного калеки, который к тому же был злостный бродяга, осужденный за воровство. А вы мне, Джосайе Баундерби из Кокстауна, толкуете о сельских школах, об образцовых школах для учителей и еще невесть о каких школах. Так вот, Джосайя Баундерби из Кокстауна заявляет вам: отлично, превосходно – хотя ему, правда, суждено было иное, – но люди нам нужны с крепкой головой и дюжими кулаками; не каждому под силу то воспитание, которое он сам получил, – это ясно, однако такое воспитание он получил, и вы можете заставить его, Джосайю Баундерби, глотать кипящее сало, но вы не заставите его отречься от фактов своей жизни.

Утомленный собственным красноречием, Джосайя Баундерби из Кокстауна остановился. И остановился как раз в ту минуту, когда его в высшей степени практический друг, все еще держа за руку обоих маленьких арестантов, вошел в комнату. Увидев Баундерби, в высшей степени практический друг его тоже остановился и устремил на Луизу укоризненный взор, говоривший яснее слов: «Видишь, вот тебе и Баундерби!»

– Ну-с, – затрубил мистер Баундерби, – что случилось? Почему Томас-младший нос повесил?

Спрашивал он о Томасе, но глядел на Луизу.

– Мы смотрели в щелку на цирковое представление, – не поднимая глаз, вызывающе отвечала Луиза, – и отец застал нас.

– Мог ли я ожидать этого, сударыня! – строго сказал мистер Грэдграйнд, обращаясь к своей супруге. – Теперь еще только не хватает, чтобы я увидел их за чтением стихов.

– Ах, боже мой, – захныкала миссис Грэдграйнд. – Луиза! Томас! Да что же это вы? Я просто удивляюсь вам. Вот имей после этого детей! Ну как тут не подумать, что лучше бы их вовсе у меня не было. Хотела бы я знать, что бы вы тогда стали делать!

Несмотря на железную логику этих слов, мистер Грэдграйнд остался недоволен. Он досадливо поморщился.

– Неужели вы, зная, что у матери мигрень, не могли посмотреть на свои ракушки и минералы и на все, что вам полагается? – продолжала миссис Грэдграйнд. – Зачем вам цирк? Вы не хуже меня знаете, что у детей не бывает ни учителей из цирка, ни цирковых коллекций, ни занятий по цирку. Что вам понадобилось знать о цирке? Делать вам нечего, что ли? С моей мигренью я и названий всех фактов не припомню, которые вам нужно выучить.

– Вот в этом-то и причина! – упрямо сказала Луиза.

– Пустое ты говоришь, это не может быть причиной, – возразила миссис Грэдграйнд. – Ступайте сейчас же и займитесь своими ологиями. – Миссис Грэдграйнд была несведуща в науках и, отсылая своих детей к занятиям, всегда пользовалась этим всеобъемлющим названием, предоставляя им самим выбрать подходящий предмет.

Надо сказать, что вообще запас фактов, которым располагала миссис Грэдграйнд, был нищенски скуден; но мистер Грэдграйнд, возводя ее в ранг супруги, руководствовался двумя соображениями: во-первых, она олицетворяла собой вполне приемлемую сумму, а во-вторых, была «без фокусов». Под «фокусами» он подразумевал воображение; и поистине, вряд ли нашлось бы другое человеческое существо, которое, не будучи идиотом от рождения, было бы вместе с тем столь же безгрешно в этом смысле.

Оставшись наедине со своим мужем и мистером Баундерби, почтенная леди так потерялась от этого, что даже не понадобилось столкновения с каким-нибудь новым фактом: она снова умерла для мира, и никто уже не глядел в ее сторону.

– Баундерби, – заговорил мистер Грэдграйнд, придвигая кресло к камину. – Вы всегда принимаете живейшее участие в моих детях – особенно в Луизе, поэтому я, не таясь, могу сказать вам, что сильно раздосадован моим открытием. Я постоянно и неуклонно (как вам известно) стремился развивать в моих детях разум. Все воспитание ребенка (как вам известно) должно быть направлено единственно на развитие разума. И вот, Баундерби, исходя из непредвиденного случая, происшедшего нынче, – хотя сам по себе он и кажется пустяком, – нельзя не предположить, что в сознание Томаса и Луизы вкралось нечто, являющееся… или, вернее, не являющееся… словом, – нечто, не имеющее ничего общего с разумом и отнюдь не предусмотренное моей системой воспитания.

– Могу засвидетельствовать, – отвечал Баундерби, – что интересоваться кучкой бродяг весьма неразумно. Когда я был бродягой, никто не интересовался мной. Уж в этом не сомневайтесь.

– Вопрос стоит так: в чем источник такого низменного любопытства? – сказал в высшей степени практический родитель, сосредоточенно глядя в огонь.

– Я вам отвечу: в праздном воображении.

– Неужели это возможно? Хотя должен сознаться, что эта страшная мысль приходила мне на ум, когда я шел с ними домой.

– В праздном воображении, Грэдграйнд, – повторил Баундерби. – Это всем вредно, а для такой девушки, как Луиза, это просто черт знает что. Я не прошу миссис Грэдграйнд извинить меня за крепкое словцо – она знает, что я человек неотесанный. Никому не советую ожидать от меня изысканных манер. Не такое я получил воспитание.

– Может быть, – рассуждал мистер Грэдграйнд, глубоко засунув руки в карманы и устремив взор из-под нависших бровей на огонь, – может быть, кто-нибудь из учителей или слуг что-нибудь внушил им? Может быть, Луиза или Томас вычитали нечто подобное? Может быть, вопреки всем мерам предосторожности в дом проникла книга глупых рассказов? Иначе как же объяснить такое

странное, непостижимое явление в детях, которые с колыбели развивались по всем правилам практического воспитания?

– Стойте! – закричал Баундерби, все еще маяча на коврике перед камином и своим воинственным самоуничижением бросая вызов даже мебели, которой была обставлена комната. – Да у вас в школе учится дочь одного из этих циркачей.

– Сесилия Джуп, – подтвердил мистер Грэдграйнд, не без смущения глядя на своего друга.

– Стойте, стойте! – опять закричал Баундерби. – А как она попала туда?

– Я сам до нынешнего дня не видел этой девочки. Но факт тот, что она приходила сюда с просьбой принять ее, хотя она не живет постоянно в нашем городе, и… да, да, Баундерби, вы правы, вы безусловно правы.

– Стойте, стойте! – еще раз крикнул Баундерби. – Когда она приходила, Луиза видела ее?

– Луиза, несомненно, видела Сесилию Джуп, потому что именно Луиза сказала мне, о чем она просит. Но я уверен, что Луиза видела ее в присутствии миссис Грэдграйнд.

– Будьте добры, миссис Грэдграйнд, – сказал Баундерби, – расскажите: как это было?

– Ах, боже мой! – простонала миссис Грэдграйнд. – Ну, девочка хотела ходить в школу, а мистер Грэдграйнд хочет, чтобы девочки ходили в школу, а Луиза и Томас сказали, что девочка хочет ходить и что мистер Грэдграйнд хочет, чтобы девочки ходили, и как я могла спорить против такого очевидного факта?

– Так вот что, Грэдграйнд! – сказал мистер Баундерби. – Выгоните вон эту девчонку, и дело с концом.

– Я склоняюсь к тому же мнению.

– Делать так делать – всегда было моим правилом, с самого детства, – сказал Баундерби. – Когда я решил бежать от моей бабушки и от моего ящика из-под яиц, я сделал это немедля. И вы действуйте так же. Прогоните ее немедля!

– Вы не откажетесь пройтись? – спросил мистер Грэдграйнд. – У меня есть адрес ее отца. Может быть, мы вместе прогуляемся в город?

– С удовольствием, – отвечал мистер Баундерби, – лишь бы дело было сделано, и немедля!

Итак, мистер Баундерби нахлобучил шляпу – иначе он никогда не надевал ее, как и подобает тому, кто сам вывел себя в люди и не имел времени приобщиться к искусству изящного ношения шляп, – и, засунув руки в карманы, не спеша вышел в сени. «Не признаю перчаток, – любил он повторять. – Я без них карабкался вверх. Иначе я бы не залез так высоко».

Мистер Грэдграйнд поднялся к себе за адресом, а мистер Баундерби, постояв немного в сенях, отворил одну из дверей и заглянул в классную – тихую светлую комнату, устланную ковром, которая, однако, вопреки книжным шкафам, коллекциям, всевозможным приборам и наглядным пособиям была едва ли не скучнее самой заурядной цирюльни. Луиза, лениво облокотившись на подоконник, рассеянно смотрела в окно, а Томас, обиженно сопя, стоял у камина. Двое других отпрысков семейства Грэдграйнд – Адам Смит и Мальтус – отбывали срок обучения вне стен отчего дома, а малютка Джейн, вся измазанная влажной глиной, полученной из смеси грифеля и слез, уснула над простыми дробями.

– Полно тебе, Луиза, полно, Томас, – сказал мистер Баундерби. – Вы больше не будете этого делать, и все. Я замолвлю за вас словечко перед вашим отцом. Ну как, Луиза? Стоит это поцелуя?

– Извольте, мистер Баундерби, – помолчав, холодно отвечала Луиза; она медленно пересекла комнату и, отвернувшись, нехотя подставила ему щеку.

– Ты ведь знаешь, что ты моя любимица, – сказал мистер Баундерби. – До свидания, Луиза!

Он ушел, а Луиза осталась стоять у дверей и все терла и терла носовым платком щеку, которую он поцеловал. Прошло пять минут, щека уже стала огненно-красной, а Луиза все еще не отнимала платка.

– Что с тобой, Луиза? – хмуро проговорил Томас. – Этак дырку протрешь.

– Можешь взять свой ножик и вырезать это место. Не заплачу!

Глава V

Основной лад

Кокстаун, куда проследовали господа Баундерби и Грэдграйнд, был торжеством факта; в нем так же не нашлось бы и намека на «фокусы», как в самой миссис Грэдграйнд. Прислушаемся к этому основному ладу – Кокстаун, – прежде чем мы продолжим нашу песнь.

То был город из красного кирпича, вернее, он был бы из красного кирпича, если бы не копоть и дым; но копоть и дым превратили его в город ненатурально красно-черного цвета – словно размалеванное лицо дикаря. Город машин и высоких фабричных труб, откуда, бесконечно виясь змеиными кольцами, неустанно поднимался дым. Был там и черный канал, и река, лиловая от вонючей краски, и прочные многооконные здания, где с утра до вечера все грохотало и тряслось и где поршень паровой машины без передышки двигался вверх и вниз, словно хобот слона, впавшего в тихое помешательство. По городу пролегало несколько больших улиц, очень похожих одна на другую, и много маленьких улочек, еще более похожих одна на другую, населенных столь же похожими друг на друга людьми, которые все выходили из дому и возвращались домой в одни и те же часы, так же стучали подошвами по тем же тротуарам, идя на ту же работу, и для которых каждый день был тем же, что вчерашний и завтрашний, и каждый год – подобием прошлого года и будущего.

Все эти приметы Кокстауна были неотъемлемы от рода труда, которым жил город. Их неприглядность оправдывали кокстаунские изделия – предметы утонченного комфорта, проникавшие во все уголки земного шара, и предметы

роскоши, которыми светская леди не в малой мере обязана была городу, чье имя и то внушало ей отвращение. Остальные черты Кокстауна не вызывались необходимостью, и сводились они к следующему.

В Кокстауне все было выдержано в строго будничном стиле. Если члены религиозной общины строили часовню – а именно так и поступили члены всех восемнадцати религиозных общин, – они возводили молитвенный пакгауз из красного кирпича, увенчанный (и то лишь в случаях крайнего расточительства) птичьей клеткой, в которой болтался колокол. Единственное исключение составляла Новая церковь – оштукатуренное здание, имевшее над входом квадратную колокольню, которая оканчивалась вверху четырьмя короткими шпицами, похожими на толстенькие деревянные ноги. Все официальные надписи в городе были одинаковые – строгие, без всяких завитушек буквы, выведенные черной и белой краской. Больница могла бы быть тюрьмой, тюрьма – больницей, ратуша либо больницей, либо тюрьмой, либо тем и другим, или еще чем-нибудь, так как архитектурные красоты всех трех зданий ничем между собой не разнились. Факты, факты и факты – повсюду в вещественном облике города; факты, факты и факты – повсюду в невещественном. Школа супругов Чадомор была сплошным фактом, сплошным фактом была и школа рисования, и отношения между хозяевами и рабочими тоже были сплошным фактом, и весь путь от родильного приюта до кладбища был фактом, а все, что не укладывалось в цифры, что не покупалось по самой дешевой цене и не продавалось по самой дорогой, – всего этого не было и быть не должно во веки веков, аминь.

Город, где факт чтили, как святыню, где факт восторжествовал и утвердился столь прочно, – такой город, разумеется, благоденствовал? Да нет, не сказать, чтобы очень. Нет? Быть не может!

Нет. Кокстаун не вышел с блеском из собственных домен, словно золото, выдержавшее испытание огнем. Прежде всего возникал недоуменный вопрос: кто принадлежит к восемнадцати религиозным общинам? Ибо если кто и принадлежал к ним, то уж никак не рабочий люд. Гуляя воскресным утром по городу, нельзя было не изумиться тому, как мало рабочих откликается на варварский трезвон, доводящий до исступления слабонервных и больных, как трудно заставить их покинуть свой квартал, свое душное жилье, свой перекресток, где они топчутся, позевывая и равнодушно взирая на идущих в церкви и часовни, словно это их ничуть не касается. И не только приезжие замечали это; в самом Кокстауне имелась лига, члены которой каждую сессию

направляли в парламент гневные петиции с требованием издать строжайшие законы, предусматривающие насильственное насаждение благочестия среди рабочих. Затем имелось Общество Трезвости, которое сетовало на то, что рабочие любят пьянствовать, и при помощи статистических таблиц доказывало, что они в самом деле пьянствуют, и члены Общества, собравшись за чашкой чаю, утверждали, что никакие силы – ни земные, ни небесные (за исключением медали Общества) – не могут помешать им предаваться пьянству. Затем имелись аптекари, которые, тоже при помощи таблиц, доказывали, что ежели рабочие не пьют, то они одурманивают себя опиумом. Затем имелся многоопытный тюремный священник, вооруженный новыми таблицами, затмевающими все предыдущие, который доказывал, что как ни бейся, а рабочие упорно посещают тайные притоны, где они слышат безнравственные песни и видят безнравственные пляски, и даже, быть может, сами поют и пляшут; именно такой притон – по свидетельству одного преступника (к сожалению, лишь отчасти достойного доверия), которого на двадцать четвертом году жизни приговорили к восемнадцати месяцам одиночного заключения, – именно такой притон и явился причиной его несчастья, ибо он не сомневался, что, не попади он туда, из него вышел бы образец добродетели. Затем имелись мистер Грэдграйнд и мистер Баундерби, известные своей практичностью, которые сейчас шествовали по Кокстауну и которые могли бы, в случае необходимости, тоже представить сведения, основанные на личном опыте и подтвержденные примерами, очевидцами коих они были, из каковых примеров совершенно ясно, – в сущности, одно только и ясно в данном случае, – что это люди, милостивые государи, без стыда и совести; что сколько для них ни делай, благодарности не жди; народ они, милостивые государи, беспокойный, сами не знают, чего хотят; живется им дай бог всякому, сливочное масло у них не переводится, кофе пьют только мокко, из говядины потребляют одну вырезку, и все же вечно недовольны, просто никакого сладу с ними нет.

Словом, как говорится в старой детской побасенке:

Жила-была бабка, и что же, друзья?

Было вдоволь у бабки еды и питья.

И бабка та ела, еду запивала,

А все-таки старая бабка ворчала.

Хотел бы я знать, возможно ли, что поведение кокстаунских рабочих имело нечто общее с проступком малолетних Грэдграйндов? Кто в наше время, будучи в здравом уме и достаточно сведущим по части цифр, не понимает, что десятилетиями одну из важнейших сторон в жизни тружеников Кокстауна заведомо сводили на нет? Что они наделены воображением, которое требует свободного выхода вместо судорожных потуг? Что прямо пропорционально их томительно долгой и однообразной работе в них возрастает не только потребность физического отдыха, но и жажда заслуженного досуга, дабы они могли с полным правом рассеяться, повеселиться – пусть это будет всего лишь незатейливая пляска под зажигательную музыку или другая, столь же невинная забава, в которую даже мистер Чадомор не имел бы права совать свой нос; и что эту жажду надо безотлагательно утолить, иначе она неизбежно будет обращаться во зло – до тех пор пока законы бытия не потеряют силу?

– Джуп живет на Подс-Энд, а я точно не помню, где эта улица, – сказал мистер Грэдграйнд. – Может быть, вы знаете, Баундерби?

Мистер Баундерби знал только, что это где-то в торговой части города, и больше ничего. Они остановились, озираясь по сторонам.

В ту же минуту из-за угла выбежала девочка – она бежала со всех ног, и лицо у нее было испуганное; мистер Грэдграйнд тотчас узнал ее.

– Что такое? – сказал он. – Стой! Стой! Куда ты мчишься?

Ученица номер двадцать, едва переводя дух, остановилась и присела.

– Что это ты носишься по улицам? – сказал мистер Грэдграйнд. – Разве так можно?

– За мной… за мной гнались, сэр, – задыхаясь, отвечала девочка. – Я и убежала.

– Гнались за тобой? – переспросил мистер Грэдграйнд. – Кому придет в голову гнаться за тобой?

Ответ на свой вопрос мистер Грэдграйнд получил самым внезапным и неожиданным образом – ибо раньше, чем Сесси успела открыть рот, из-за угла

галопом вынесся белобрысый мальчишка и, не ожидая встретить препятствие, со всего размаха ударился о жилет мистера Грэдграйнда и отлетел на мостовую.

– Что такое, Битцер? – сказал мистер Грэдграйнд. – Что ты делаешь? Как ты смеешь так наскакивать на… на людей!

Битцер, подобрав шапку, упавшую с головы от толчка, попятился, стукнул себя костяшками пальцев по лбу и смиренно сказал, что «он нечаянно».

– Это он гнался за тобой, Джуп? – спросил мистер Грэдграйнд.

– Да, сэр, – с запинкой отвечала девочка.

– Неправда, сэр, неправда! – закричал Битцер. – Она первая побежала. Всем известно, что циркачи всегда болтают зря. Ты сама отлично это знаешь, – повернулся он к Сесси, – все говорят, что циркачи болтают зря. Весь город это знает так же твердо, как таблицу умножения, которой, кстати сказать, сэр, циркачи не знают. – Этим Битцер хотел угодить мистеру Баундерби.

– Он напугал меня, – сказала девочка. – Такие страшные рожи корчил!

– Ах вот ты как? – крикнул Битцер. – Ну, конечно, и ты такая же! Циркачка! Да я, сэр, и не глядел на нее. Я только спросил, сумеет ли она завтра определить, что есть лошадь, – не то я могу объяснить ей еще раз. Тут она убежала, и я побежал за ней, сэр, чтобы она сумела ответить, когда ее спросят. Ты оттого и наговариваешь на меня, что ты циркачка!

– Я вижу, что дети отлично знают, кто она, – заметил мистер Баундерби. – Еще неделя, и вся школа уже подглядывала бы в щелку.

– Вы совершенно правы, – отвечал мистер Грэдграйнд. – Битцер, кругом марш и отправляйся домой. Джуп, подожди минутку. А ты, Битцер, ежели я еще раз узнаю, что ты как сумасшедший носишься по улицам, ты услышишь обо мне от своего учителя. Понимаешь, что я хочу сказать? Ну, ступай.

Мальчик, все время усиленно моргавший, еще раз стукнул себя костяшками по лбу, глянул на Сесси, повернулся и ушел.

– А теперь, Джуп, – сказал мистер Грэдграйнд, – проводи меня и этого джентльмена к твоему отцу. Мы к нему шли. Что это у тебя в бутылке?

– Джин, конечно, – сказал мистер Баундерби.

– Что вы, сэр! Это девять масел.

– Как ты сказала? – вскричал мистер Баундерби.

– Девять масел, сэр. Я этим растираю отца.

– Какого дьявола, – захохотал мистер Баундерби, – ты растираешь отца девятью маслами?

– У нас все так делают, сэр, когда повредят себе что-нибудь на арене, – отвечала девочка, оглядываясь через плечо, чтобы удостовериться, что ее преследователь ушел. – Иногда они очень больно расшибаются.

– Так им и надо, – сказал мистер Баундерби, – пусть не бездельничают.

Сесси со страхом и недоумением подняла на него глаза.

– Черт возьми! – продолжал мистер Баундерби. – Я был моложе тебя лет на пять, когда уже познакомился с такими ушибами, что ни десять масел, ни двадцать, ни сорок не помогли бы. И ушибался я не оттого, что паясничал, а оттого, что мною швырялись. Мне не довелось плясать на канате, я плясал на голой земле, а канатом меня подстегивали.

Мистер Грэдграйнд хоть и не отличался мягкосердечием, однако далеко не был столь черствым человеком, как мистер Баундерби. Он, в сущности, по натуре был не злой; и быть может, оказался бы даже добряком, если бы много лет тому назад допустил какую-нибудь ошибку, подытоживая черты своего характера. Когда Сесси привела их в узкий переулок, он сказал ей тоном, который в его устах был верхом дружелюбия:

– Значит, это и есть Подс-Энд, Джуп?

– Да, сэр, это Подс-Энд. А вот и наш дом, сэр, уж не взыщите.

Она остановилась перед убогим трактиром, в котором тускло светились красные огоньки; в сгущающихся сумерках трактир казался таким обшарпанным и жалким, словно за неимением посетителей он сам пристрастился к спиртному, пошел по дорожке, уготованной всем пьяницам, и вот-вот достигнет конца ее.

– Надо только пройти через распивочную, сэр, и подняться по лестнице. Пожалуйста, подождите меня наверху одну минуточку, пока я зажгу свечку. Если залает собака, сэр, вы не бойтесь – это наш Весельчак, он не кусается.

– «Весельчак», «девять масел»! Что вы скажете? – рассмеявшись своим металлическим смехом, проговорил мистер Баундерби, последним входя в трактир. – Как раз под стать такому человеку, как я!

Глава VI

Слири и его труппа

Трактир именовался «Щит Пегаса». Уместнее, пожалуй, было бы назвать его «Крылья Пегаса»; но на вывеске под изображением крылатого коня живописец вывел антиквой «Щит Пегаса», а пониже, затейливыми буквами, начертал четверостишие:

Из доброго солода – доброе пиво,

Входите, отведайте – вкусом на диво.

Желаете бренди, желаете джин?

Каких только нет здесь водок и вин!

На стене, позади грязной узенькой стойки, в раме и под стеклом висел другой Пегас – бутафорский, – с крыльями из настоящего газа, весь усыпанный золотыми звездами и в красной шелковой сбруе.

Так как снаружи было слишком темно, чтобы разглядеть вывеску, а внутри недостаточно светло, чтобы разглядеть картину, то мистер Грэдграйнд и мистер Баундерби не могли оскорбиться столь необузданной игрой воображения. Они взошли по крутой лестнице, никого не встретив, и остались ждать впотьмах, а девочка вошла в комнату за свечой. Вопреки их ожиданию, что вот-вот раздастся собачий лай, превосходно дрессированный Весельчак не подавал голоса.

– Отца здесь нет, – растерянно сказала Сесси, появляясь в дверях с зажженной свечой. – Пожалуйста, войдите, я сейчас разыщу его.

Они переступили порог, и Сесси, пододвинув им стулья, ушла своей быстрой легкой походкой. Комната – с одной кроватью – была обставлена убого и скудно. На стене висел белый ночной колпак с двумя павлиньими перьями и торчащей торчком косичкой, который еще сегодня украшал голову синьора Джупа, когда он оживлял представление шутками и остротами в шекспировском духе; но никаких других предметов одежды или следов его присутствия или деятельности нигде не было заметно. Что касается Весельчака, то почтенный предок превосходно дрессированного пса мог бы с таким же успехом и не попасть в Ноев ковчег, ибо под щитом Пегаса не видно и не слышно было ничего похожего на собачью породу.

Наверху, этажом выше, хлопали двери – видимо, Сесси в поисках отца ходила из комнаты в комнату; раздавались возгласы удивления. Потом Сесси вбежала в комнату, кинулась к продавленному чемодану, обитому облезлым мехом, подняла крышку и, найдя его пустым, горестно всплеснула руками.

– Он, должно быть, пошел в цирк, сэр, – сказала она, испуганно озираясь. – Не знаю зачем, но он, наверно, там. Я сию минуту приведу его. – Она убежала, как была, без шляпы, длинные темные кудри, еще по-детски распущенные, падали ей на плечи.

– Что она говорит? – сказал мистер Грэдграйнд. – Сию минуту? Да ведь до балагана не меньше мили.

Прежде чем мистер Баундерби успел ответить, в дверях появился молодой человек и со словами: «Разрешите, господа!», не вынимая рук из карманов, вошел в комнату. Его бритое худое лицо отливало желтизной, тусклые черные

волосы, разделенные прямым пробором, валиком лежали вокруг головы. Крепкие мускулистые ноги были несколько короче, нежели полагается при хорошем сложении, зато грудь и спина слишком раздались в ширину. На нем был камзол наездника, штаны в обтяжку, вокруг шеи шарф; от него пахло ламповым маслом, соломой, апельсинными корками, фуражом и опилками; больше всего он походил на диковинного кентавра, составленного из конюшни и театра. Где начиналось одно и кончалось другое – определить с точностью не удалось бы никому. Молодой человек значился на сегодняшней афише как мистер И. У. Б. Чилдерс, несравненный мастер вольтижировки, Дикий Охотник Северо-Американских прерий; в этом излюбленном публикой номере участвовал мальчик с лицом старичка – он и сейчас сопровождал мистера Чилдерса, – изображавший малютку сына, которого отец нянчил, перекинув через плечо вверх тормашками и придерживая за пятку или поставив макушкой на ладонь, что, видимо, соответствовало общепринятому мнению о том, каким способом Дикий Охотник должен выражать свое неистовое чадолюбие. При помощи накладных кудряшек, веночков, крылышек, белил и румян этот талантливый юноша превращался в столь прелестного купидона, что все женские – и особенно материнские – сердца в публике таяли от восторга; но вне арены, облаченный в куцую куртку, он скорее походил на жокея, тем более что голос у него был весьма густой и грубый.

– Разрешите, господа, – сказал мистер Чилдерс, оглядывая комнату. – Если не ошибаюсь, вы желали видеть Джупа?

– Совершенно верно, – подтвердил мистер Грэдграйнд. – Его дочь пошла за ним, но мне некогда дожидаться. Поэтому я попрошу вас кое-что передать ему.

– Дело в том, любезный, – вмешался мистер Баундерби, – что такие люди, как мы, – не вам чета: мы знаем цену времени, а вы не знаете.

– Не имею чести знать вас, – отвечал мистер Чилдерс, смерив собеседника взглядом, – но если вы хотите сказать, что ваше время приносит вам больше денег, чем мое время – мне, то, по всей видимости, вы правы.

– И расставаться с ними вы небось тоже не любите, – проворчал Купидон.

– Ты молчи, Киддерминстер! – сказал мистер Чилдерс. (Киддерминстер было земное имя Купидона.)

– А зачем он явился сюда? Смеяться, глядя на нас? – сердито вскричал Киддерминстер, видимо не отличавшийся кротким нравом. – Если вы желаете посмеяться – купите билет и ступайте в цирк.

– Киддерминстер, – сказал мистер Чилдерс, повышая голос, – замолчи! Послушайте меня, сэр, – обратился он к мистеру Грэдграйнду. – Не знаю, известно вам или нет (быть может, вы редко посещаете наши представления), что в последнее время Джуп очень много мазал.

– Что он делал? – спросил мистер Грэдграйнд, взглядом взывая к могущественному Баундерби о помощи.

– Мазал.

– Четыре раза вчера принимался и ни одного флик-флака не вытянул, – сказал юный Киддерминстер. – И на крутке подкачал, и в колесе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/charlz-dikkens/tyazhelye-vremena

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить